

rocketbook

Александр Дюма

Дама с камелиями



Александр Дюма-сын
Дама с камелиями

«ЭКСМО»

1852

Дюма-сын А.

Дама с камелиями / А. Дюма-сын — «Эксмо», 1852

ISBN 5-699-13685-1

Роман «Дама с камелиями» обессмертил имя французского драматурга, поэта и романиста – Александра Дюма-сына. Образ парижской куртизанки Маргариты Готье заиграл новыми красками, когда на сцене его воплотила великая актриса Сара Бернар, а в кинематографе звезда мировой величины Грета Гарбо. На премьере пьесы, созданной по роману, побывал композитор Верди, впоследствии сочинивший по мотивам «Дамы с камелиями» знаменитую оперу «Травиата».

ISBN 5-699-13685-1

© Дюма-сын А., 1852

© Эксмо, 1852

Содержание

Предисловие	5
I	13
II	16
III	19
IV	24
V	29
VI	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Александр Дюма-сын

Дама с камелиями

Предисловие Мари Дюплесси

В тысяча восемьсот сорок пятом году, в эпоху благоденствия и мира, когда молодая Франция была осыпана всеми дарами ума, таланта, красоты и богатства, в Париже проживала молодая, замечательно красивая и привлекательная особа; где бы она ни появлялась, все, кто видел ее в первый раз и не знал ни имени, ни профессии, обращали на нее почтительное внимание. И действительно: у нее было самое безыскусственное, наивное выражение лица, обманчивые манеры, смелая и вместе с тем скромная походка женщины из самого высшего общества, лицо у нее было серьезное, улыбка значительная, и при виде ее можно было повторить слова Эллевью об одной придворной даме: не то это кокетка, не то герцогиня.

Увы, она не была герцогиней и родилась на самом низу общественной лестницы; нужно было иметь ее красоту и привлекательность, чтобы в восемнадцать лет так легко перешагнуть через первые ступени. Помню, я встретил ее в первый раз в отвратительном фойе одного бульварного театра, плохо освещенного и переполненного шумной публикой, которая обыкновенно относится к мелодраме как к серьезной пьесе. В толпе было больше блузок, чем платьев, больше чепцов, чем шляп с перьями, и больше потрепанных пальто, чем свежих костюмов; болтали обо всем: о драматическом искусстве и о жареном картофеле; о репертуаре театра Жимназ и о сухарях в театре Жимназ; но когда в этой странной обстановке появилась та женщина, казалось, что взглядом своих прекрасных глаз она осветила все эти смешные и ужасные вещи. Она так легко прикасалась ногами к неровному паркету, как будто в дождливый день переходила бульвар; она инстинктивно приподнимала платье, чтобы не коснуться засохшей грязи, вовсе не думая показывать нам свою стройную, красиво обутую ножку в шелковом ажурном чулке. Весь ее туалет гармонировал с ее гибкой и юной фигуркой; прелестный овал слегка бледного лица придавал ему обаяние, которое она распространяла вокруг себя, словно какой-то необыкновенно тонкий аромат.

Она вошла, прошла с высоко поднятой головой через удивленную толпу, и – представьте себе наше удивление, Листа и мое, – фамильярно села на нашу скамейку, хотя ни Лист, ни я не были с ней знакомы; она была умная женщина, со вкусом и здравым смыслом, и первая заговорила с великим артистом; она сказала ему, что слышала его недавно и что он очаровал ее. Он, подобный звучным инструментам, которые отвечают на первое дуновение майского ветерка, слушал со сдержанным вниманием ее слова, полные содержания, звучные, красноречивые и мечтательные по форме. Со свойственным ему поразительным тактом и привычкой вращаться как среди официального мира, так и среди артистического, он задавал себе вопрос, кто эта женщина, такая фамильярная и вместе с тем такая благородная, которая первая с ним заговорила, но после первых же слов обращалась с ним несколько высокомерно, как будто он был ей представлен в Лондоне, при дворе королевы или герцогини Сутерландской?

Однако в зале уже прозвучали три торжественных удара режиссера, и в фойе не осталось никого из публики и критиков. Только незнакомая дама оставалась со своей спутницей и с нами – она под села даже поближе к огню и поставила свои замерзшие ножки так близко к поленьям, что мы свободно могли рассмотреть ее всю, начиная с вышивки ее юбки и кончая локонами прически; ее рука в перчатке была похожа на картинку, ее носовой платок был искусно обшит королевскими кружевами; в ушах у нее были две жемчужины, которым могла

бы позавидовать любая королева. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате, под золоченой кровлей, где-нибудь в великолепном предместье, с короной на голове, с толпой льстецов у ног. Ее манеры гармонировали с разговором, мысль – с улыбкой, туалет – с внешностью, и трудно было бы отыскать на самых верхах общества личность, так гармониовавшую со своими украшениями, костюмами и речами.

Лист был очень удивлен таким чудесным явлением в подобном месте, таким приятным антрактом в этой ужасной мелодраме и разошелся. Он был не только величайший артист, но и очень красноречивый собеседник. Он умел разговаривать с женщинами и, как они, переходил от одной идеи к другой, прямо противоположной. Он обожал парадоксы и то касался серьезных материй, то смешных; я не сумею вам описать, с каким искусством, с каким тактом, с каким безграничным вкусом он вел с этой незнакомкой обычный, немного вульгарный и в то же время чрезвычайно изящный разговор.

Они разговаривали так в продолжение всего третьего акта мелодрамы, а ко мне обращались только два раза из вежливости; я находился как раз в это время в том скверном настроении, когда человеческая душа не поддается никакому восторгу, и был уверен, что незнакомая дама считает меня очень скучным и глупым, в чем она была совершенно права.

Зима прошла, прошло лето, а осенью на блестящем бенефисном спектакле в опере мы вдруг увидели, как шумно открылась большая ложа в бельэтаже и там появилась с букетом в руках та самая красавица, которую я видел в бульварном театре. Это была она! Но на этот раз – в роскошном туалете модной женщины, сверкая блеском победы. Она была восхитительно причесана, ее прекрасные волосы были переплетены бриллиантами и цветами и так грациозно зачесаны, что казались словно живыми; у нее были голые руки и грудь, и на них сверкали ожерелья, браслеты, изумруды. В руках у нее был букет, не сумею сказать какого цвета; нужно иметь глаза молодого человека и воображение ребенка, чтобы различить окраску букета, над которым склоняется красивое лицо. В нашем возрасте замечают только щечки и глаза и мало интересуются всем остальным, а если стремятся сделать какие-нибудь выводы, то их черпают в самом человеке, и это доставляет немало труда.

В этот вечер Дюпрэ начал борьбу со своим непокорным голосом, окончательный бунт которого он уже предчувствовал; но он один это предчувствовал, большая публика этого и не подозревала. Только немногие любители угадывали усталость, скрытую под искусными приемами, и истощение артиста от колоссальных усилий лгать перед самим собой. По-видимому, прекрасная дама, о которой я говорю, была такой ценительницей: послушав несколько минут очень внимательно и не поддавшись обычному очарованию, она энергично отодвинулась в глубину ложи, перестала слушать и начала с лорнетом в руках изучать публику.

Вероятно, она многих знала среди избранной публики этого спектакля. По движению ее лорнета легко было заключить, что молодая женщина могла рассказать многое о молодых людях с самыми громкими именами; она смотрела то на одного, то на другого, без разбора, не выделяя никого своим вниманием, равнодушная ко всем, – и каждый отвечал ей на оказанное внимание улыбкой, или быстрым поклоном, или мимолетным взглядом. Из глубины темных лож и мест оркестра к прекрасной женщине летели другие взоры, пламенные, как вулкан, но их она не замечала. Но когда ее лорнет случайно попадал на дам из настоящего общества, она внезапно принимала такой покорный и жалкий вид, что было больно на нее смотреть. И, наоборот, она с горечью отворачивалась, если по несчастной случайности ее взор падал на красавиц, пользующихся сомнительной известностью и занимающих самые лучшие места в театре в большие дни. Ее спутник (на этот раз у нее был кавалер) был очень красивый молодой человек, наполовину парижанин, сохранивший еще некоторые остатки отцовского состояния, которые он съедал день за днем в этом погибельном городе. Этот начинавший жить молодой человек гордился своей спутницей, достигшей апогея красоты, с удовольствием афишировал свое право собственности на нее и надоедал ей всевозможными знаками внимания, которые так

приятны молодой женщине, когда они исходят от милого сердцу любовника, и так неприятны, когда не встречают взаимности... Она его слушала, не слыша, и смотрела на него, не видя... Что он говорил? Она не знала; но она старалась отвечать, и эти бессмысленные слова утомляли ее.

Таким образом, сами того не подозревая, они были не одни в ложе, стоимость которой равнялась полугодичному пропитанию целой семьи. Между ней и ним возник обычный спутник больных душ, уязвленных сердец, изможденных умов: скука, этот Мефистофель заблудших Маргарит, павших Кларисс, всех этих богинь, детей случая, которые бросаются в жизнь без руля и без ветрил.

Она, эта грешница, окруженная обожанием и поклонением молодости, скучала, и эта скука служила ей оправданием, как искупление за скоро преходящее благоденствие. Скука была несчастьем ее жизни. При виде разбитых привязанностей, сознавая необходимость заключать мимолетные связи и переходить от одной любви к другой, – увы! – сама не зная почему, заглушая зарождающееся чувство и расцветающую нежность, она стала равнодушной ко всему, забывала вчерашнюю любовь и думала о сегодняшней любви столько же, сколько и о завтрашней страсти.



Несчастливая, она нуждалась в уединении... и всегда была окружена людьми. Она нуждалась в тишине... и воспринимала своим усталым ухом беспрерывно и бесконечно все одни и те же слова. Она хотела спокойствия... ее увлекали на празднества и в толпу. Ей хотелось быть любимой... ей говорили, что она хороша! Так она отдавалась без сопротивления этому беспощадному водовороту! Какая молодость!.. Как понятны становятся слова мадемуазель де Ланкло, которые она произнесла с глубоким вздохом сожаления, достигнув сказочного благополучия, будучи подругой принца Кондэ и мадам Ментенон: «Если бы кто-нибудь предложил мне такую жизнь, я бы умерла от страха и горя».

Опера кончилась, прелестная женщина встала, хотя вечер был еще в полном разгаре. Ждали Буффэ, мадемуазель Дежазе и актеров из Пале-Рояля, не говоря уже о балете, в котором должна была выступать Карлотта, прелестное и грациозное создание, переживающее первые

дни восторга и поэзии... Она не хотела дожидаться водевиля; ей хотелось сейчас же уехать домой, хотя остальную публику ожидали еще несколько часов удовольствия под звуки музыки и при свете ярких люстр.

Я видел, как она вышла из ложи и сама накинула на себя пальто на горностаевом меху. Молодой человек, который ее сопровождал в театр, казалось, был недоволен, и так как теперь ему не перед кем было хвастаться этой женщиной, то он и не беспокоился больше о ней. Помню, что я помог ей укутать ее белые плечи, и она посмотрела на меня, не узнавая, с горькой улыбкой, которую перевела потом на молодого человека, расплачивавшегося в это время с портьершей, требуя у нее пять франков сдачи.

– Сдачу оставьте себе, – сказала она портьерше, приветливо кивнув ей головой. Я видел, как она спустилась по большой лестнице с правой стороны, ее белое платье резко выделялось под красным пальто, а шарф, покрывавший голову, был завязан под подбородком, ревнивое кружево падало ей на глаза, но кого это трогало! Эта женщина уже сыграла свою роль, ее рабочий день был окончен, и ей не к чему было думать больше о своей красоте. Наверное, в эту ночь молодой человек не переступил порог ее комнаты...

Должен отметить одну очень похвальную вещь: эта молодая женщина пригоршнями разбрасывала золото и серебро, увлекаемая как своими капризами, так и своей добротой и мало ценя эти печальные деньги, которые ей доставались так тяжело; но вместе с тем она не была виновницей ни разорений, ни карточной игры, ни долгов, не была героиней скандальных историй и дуэлей, которые, наверное, встретились бы на пути других женщин в ее положении. Наоборот, вокруг нее говорили только о ее красоте, о ее победах, о ее хорошем вкусе, о модах, которые она выдумывала и устанавливала. Говоря о ней, никогда не рассказывали об исчезающих состояниях, тюремных заключениях за долги и изменах, неизбежных спутниках потемок любви. По-видимому, вокруг этой женщины, так рано умершей, создалось какое-то тяготение к сдержанности, к приличию. Она жила особой жизнью даже в том обособленном обществе, к которому она принадлежала, в более чистой и спокойной атмосфере, хотя, конечно, атмосфера, в которой она жила, все губила.

В третий раз я ее встретил на освящении Северной железной дороги, на празднествах, которые Брюссель устраивал Франции, ставшей его соседкой и сотрапезницей. Бельгия собрала на вокзале, этом центральном пункте всех северных железных дорог, все свои богатства: растения из своих оранжерей, цветы из своих садов, бриллианты своих корон. Невероятная смесь всевозможных мундиров и лент, бриллиантов и газовых платьев заполняла место небывалого празднества. Французское пэрство и немецкое дворянство, испанская Бельгия, Фландрия и Голландия, разукрашенные старинными драгоценностями, современными Людовiku XIV, представители больших, солидных промышленных фирм, масса изящных парижанок, похожих на бабочек в пчелином улье, слетелись на этот праздник промышленности и путей сообщения, покоренного железа и огня. Здесь беспорядочно были представлены все силы и красоты творения, от дуба до цветка, от каменного угля до аметиста. Среди толпы различных народностей, королей, принцев, артистов, кузнецов и европейских кокоток мы увидели, или, вернее, я увидел эту прелестную женщину, еще более побледневшую, чем раньше, уже сраженную невидимым злом, которое влекло ее к могиле.

Она попала на этот бал, несмотря на свое имя, благодаря своей ослепительной красоте. Она привлекала всеобщее внимание, ей выражали восторг. Лстыивый шепот провожал ее на всем пути, и даже те, кто ее знал, склонялись перед ней; как всегда, спокойная и презрительно замкнутая, она принимала эти восторги как нечто должное. Она спокойно ступала по коврам, по которым ступала сама королева. Не один принц останавливался перед ней, и его взгляды легко могла понять любая женщина: я преклоняюсь перед вашей красотой и удаляюсь с сожалением. В этот вечер ее вел под руку новый незнакомец, белокурый, как немец, бесстрастный, как англичанин, изысканно одетый, очень корректный, очень замкнутый; по-видимому,

он считал свой поступок проявлением большой смелости, в которой мужчины упрекают себя потом до самой смерти.

Вероятно, поведение этого человека было неприятно впечатлительной особе, которую он вел под руку; она угадывала его своим шестым чувством и удваивала свою надменность; ее чудесный инстинкт подсказывал ей, что чем больше этот человек удивляется своему поступку, тем сильнее должна возрастать ее дерзость и презрение к угрызениям совести этого жалкого парня. Немногие понимали страдания, которые переживала в этот момент она, женщина без имени, которую вел под руку человек без имени; казалось, он подавал сигнал общему неодобрению и всем своим угрожающим поведением ясно выказывал свою беспокойную душу, нерешительное сердце и смущенный ум. Но этот англонемец был жестоко наказан за свою скрытую тревогу; на повороте аллеи, залитой светом, наша парижанка встретила своего друга, неприятельного друга, который получал время от времени кончики ее пальцев для поцелуя и улыбку на ее губах.

– Вы здесь! – воскликнула она. – Дайте мне руку и пойдем танцевать!

И, бросив руку своего официального кавалера, она начала танцевать вальс в два па, полный соблазна, когда его танцуют под музыку Штрауса, так, как его танцуют на берегах немецкого Рейна, его настоящей родины. Она танцевала очаровательно, не особенно быстро, не особенно наклонялась, послушная внутреннему ритму и внешнему темпу, едва касаясь легкой ножкой гладкого пола, мерно подскакивая, не сводя глаз со своего кавалера.

Около них образовался круг, и то одного, то другого касались прелестные волосы, развевавшиеся в такт быстрому вальсу, и легкое платье, пропитанное нежными духами: мало-помалу круг становился все теснее и теснее, другие танцоры останавливались, чтобы посмотреть на них, и само собой случилось, что высокий молодой человек, который привел ее на бал, потерял ее в толпе и тщетно искал ту, которой он с таким отвращением предложил свою руку... Нельзя было найти ни этой женщины, ни ее кавалера.

На другой день после этого праздника она приехала из Брюсселя в Спа прекрасным утром, когда горы, поросшие зеленью, пропускают солнце. В этот час сюда стекаются все счастливые больные, которые стремятся отдохнуть от развлечений прошлой зимы, чтобы лучше подготовиться к развлечениям будущей. В Спа знают только одну лихорадку – бальную, только одну тоску – разлуки, только одно лекарство – болтовню, танцы и музыку и волнения игры вечером, когда укрепления сверкают всеми огнями, когда горное эхо повторяет на тысячи ладов чарующие звуки оркестра. В Спа парижанку приняли с редким вниманием для этой немного дикой деревни, которая охотно уступает Бадену – своему сопернику – красавиц без имени, без мужа и без положения. Все были чрезвычайно удивлены в Спа, когда узнали, что эта молодая женщина серьезно больна, и опечаленные врачи признались, что они редко встречали больше покорности, соединенной с большим мужеством.

Ее очень внимательно, старательно выслушали и после серьезного совещания предписали покой, отдых, сон, тишину, одним словом – все, о чем она мечтала для себя. Услышав эти советы, она улыбнулась, недоверчиво покачав головой, – она знала, что все было возможно, кроме этих счастливых часов, удела только некоторых избранных женщин. Она обещала, однако, слушаться в течение нескольких дней и подчиниться этому спокойному режиму. Но тщетные усилия! Через некоторое время ее видели пьяной и безумно веселой деланым весельем, верхом на лошади, на самых опасных дорожках, удивляющей своим весельем ту самую аллею «Семи часов», которая так недавно ее видела мечтательно читающей в тени деревьев.

Скоро она стала львицей этих прекрасных мест. Она царила на всех празднествах; оживляла балы; она предписывала программу оркестру, а ночью, когда сон принес бы ей так много пользы, она пугала самых бесстрашных игроков грудями золота, которые вырастали перед ней и которые она сразу теряла, равнодушная к выигрышу, как и к проигрышу. Она считала игру придатком своей профессии, средством убивать часы, которые убивали ее жизнь. Несмотря

ни на что, у нее оставался еще большой козырь в жестокой жизненной игре, у нее были друзья, хотя обычно эти мрачные связи оставляют после обожания только прах и пыль, суету и ничтожество! И как часто любовник проходит мимо своей возлюбленной, не узнавая ее, и как часто любовница тщетно призывает на помощь!.. Как часто рука, привыкшая к цветам, тщетно просит милостыни и черствого хлеба!..

С нашей героиней этого не было, она пала, не жалуясь, и, упав, нашла помощь, поддержку и покровительство среди страстных обожателей ее лучших дней. Эти люди, которые были соперниками и, может быть, врагами, соединились у изголовья больной, чтобы искупить безумные ночи добродетельными ночами, когда приблизится смерть, разорвется завеса и жертва, лежащая на одре, и ее соучастники поймут наконец правдивость слов: *Vae ridentibus!* Горе смеющимся! Горе! Иначе говоря, горе пустым радостям, горе несерьезным привязанностям, горе непостоянным страстям, горе юности, заблудившейся на дурных дорогах, ибо придет время, когда придется вернуться обратно и пасть в бездну, неизбежную в двадцать лет.

Она умерла, нежно убаюканная и утешенная бесконечно трогательными словами, бесконечными братскими заботами, у нее не было больше любовников... Никогда у нее не было столько друзей, и вместе с тем она без сожаления расставалась с жизнью. Она знала, что ее ждет, если к ней вернется здоровье, и что придется снова поднести к своим бескровным губам чашу наслаждения, гуши которой она слишком рано вкусила; она умерла молча, еще более сдержанная в смерти, чем была в жизни; после всей роскоши и скандалов хороший вкус подсказал ей желание быть погребенной на рассвете, в уединенном, неизвестном месте, без шума, без хлопот, как честная мать семейства, которая соединяется на этом кладбище со своим мужем, своим отцом, своей матерью и своими детьми, со всем, что она любила.

Однако, помимо ее воли, ее смерть была как бы событием! О ней говорили в течение трех дней – а это много в этом городе пылких страстей и непрерывных праздников. Через три дня открыли запертую дверь ее дома. Окна, выходившие на бульвар, как раз напротив церкви Св. Магдалины, ее покровительницы, снова впустили воздух и свет в эти стены, где она умерла. Казалось, что молодая женщина снова появится в этом жилище. Не осталось никаких следов смерти ни в складках шелковых занавесей, ни в длинных драпировках необыкновенного оттенка, ни на вышитых коврах, где цветок, казалось, рождался под легкой ногой ребенка.

Все в этих роскошных покоях стояло еще на своих местах. У изголовья скамеечка сохранила отпечаток колен человека, закрывшего ей глаза. Старинные часы, показывавшие время мадам Помпадур и мадам дю Барри, показывали время и теперь; в серебряных канделябрах были вставлены свечи, оправленные для последней беседы; в жардиньерках боролись со смертью розы и выносливый вереск. Они умирали без воды... Их госпожа умерла без счастья и надежды.

Увы! На стенах висели картины Диаца, которого она признала одна из первых как истинного художника весны.

Все еще говорило о ней! Птицы распевали в золоченой клетке; в шкафах Буль, за стеклами виднелись поразительные коллекции: редкие шедевры Севрской фабрики, самые лучшие саксонские рисунки эмали Петито, работы Буше, безделушки. Она любила грациозное, кокетливое, изящное искусство, где порок не лишен ума, где невинность показывает свою наготу; она любила флорентийскую бронзу, эмаль, терракоту, все изощрения вкуса и роскоши упадочного времени. В них она видела эмблему своей красоты и своей жизни. Увы! Она тоже была бесполезным украшением, фантазией, легкомысленной игрушкой, которая ломается при первом ударе, блестящим продуктом умирающего общества, перелетной птицей, быстротечной звездой.

Она так хорошо изучила искусство ухода за самой собой, что ничто не могло сравниться с ее платьями, с ее бельем, с мелкими принадлежностями ее туалета; уход за красотой был, по видимому, самым ценным и самым приятным занятием ее юности.

Я слышал, как самые знатные дамы и самые искусные кокетки удивлялись изощренности и изысканности всех ее туалетных принадлежностей. Ее гребень был продан за сумасшедшую цену; ее головная щетка была продана чуть ли не на вес золота. Продавались даже ее поношенные перчатки, настолько была хороша ее рука. Продавались ее поношенные ботинки, и порядочные женщины спорили между собой, кому носить этот башмачок Золушки. Все было продано, даже ее старая шаль, которой было три года; даже ее пестрый попугай, напевавший довольно печальную мелодию, которой научила его госпожа; продали ее портреты, продали ее любовные записочки, продали ее лошадей – все было продано, и ее родственники, которые отворачивались от нее, когда она проезжала в своей карете с гербами, на прекрасных английских скакунах, с торжеством завладели всем золотом, которое очистилось от этой продажи. Целомудренные люди! Они себе ничего не оставили из вещей, принадлежавших ей.

Такова была эта исключительная женщина даже по парижским нравам, и вы поймете мое удивление, когда появилась эта интересная книга, полная такой жизненной правды: «Дама с камелиями». О ней заговорили сначала, как говорят обычно о страницах, запечатленных искренним чувством молодости, и все с удовольствием отмечали, что сын Александра Дюма, едва окончивший коллеж, шел уже верным шагом по блестящим следам своего отца. У него были отцовская живость и впечатлительность; у него был отцовский живой стиль, быстрый и не лишенный естественного диалога, легкого и разнообразного, придающего романам этого великого мастера прелесть, вкус и характер комедии.

Итак, эта книга имела большой успех; читатели вскоре поняли, что «Дама с камелиями» не висела в воздухе, что эта женщина должна была жить и жила недавно, что эта драма не была выдумана из головы, что это была интимная трагедия, сочащаяся живой кровью. Все заинтересовались именем героини, ее положением в обществе, успехом и шумом ее любовных приключений. Публика, которая хочет все знать и в конце концов все узнает, узнала мало-помалу все эти подробности, и кто прочел книгу, тот перечитывал ее снова, и, конечно, знание истины отразилось на интересе рассказа.

Так, по счастливой случайности, книга, отпечатанная с бесцеремонностью пустого романа, едва ли предназначенного прожить один день, теперь перепечатывается со всем почетом всеми признанной книги! Прочтите ее, и вы узнаете во всех подробностях трогательную историю, из которой богато одаренный молодой человек сделал элегию и драму с такими следами, успехом и счастьем.

Жюль Жанен

I

По моему мнению, можно создавать типы только после долгого изучения людей, так же, как можно говорить на каком-нибудь языке, лишь изучив его серьезно.

Я еще не в том возрасте, когда выдумывают из головы, и поэтому ограничусь пересказом.

Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы.

Кроме того, в Париже найдутся свидетели большинства происшествий, рассказанных здесь, и сумеют их подтвердить, если моего слова окажется мало. Благодаря особому случаю я один мог их описать, ибо я один знал многие подробности, без которых рассказ был бы неинтересен и неполон.

Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лаффит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время: улица д'Антэн, дом № 9, 16-го числа с двенадцати до пяти.

Кроме того, в объявлении было сказано, что 13-го и 14-го желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру.

Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая, и если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи.

На следующий день я отправился на улицу д'Антэн, в дом № 9.

Несмотря на ранний час, в квартире было уже много посетителей и даже посетительниц; дамы, одетые в бархат, закутанные в шали и приехавшие в элегантных экипажах, рассматривали, однако, с удивлением и даже с восхищением роскошь, представшую их глазам.

Позднее я понял это восхищение и удивление: присмотревшись к окружающей обстановке, я легко догадался, что нахожусь в квартире содержанки. Здесь были и светские дамы, а их больше всего на свете интересует домашняя обстановка тех женщин, экипажи которых каждый день забрызгивают грязью их экипажи, которые имеют, так же, как и они, и рядом с ними, абонированные ложи в Большой Опере и в Итальянской, и которые выставляют в Париже напоказ наглую роскошь своей красоты, своих драгоценностей и своих скандалов.

Та, у которой я сейчас находился, умерла, – и самые добродетельные дамы могли проникнуть в ее квартиру. Смерть очистила воздух в этой блестящей клоаке, а, кроме того, им служило извинением, если вообще нужно было извинение, то, что они пришли на аукцион, не зная, к кому они пришли. Они прочли объявление, хотели осмотреть вещи, о которых говорилось в объявлении, и заранее сделать выбор; все объяснялось очень просто; но это не мешало им разыскивать среди всей роскоши следы жизни куртизанки, о которой им, наверное, рассказывали много удивительного.

Но, к несчастью, тайны умерли вместе с богиней, и, несмотря на все их желание, дамы могли видеть только то, что продавалось за смертью владелицы, а не то, что продавалось при ее жизни.

Однако выбор был большой. Обстановка была поразительная: мебель розового дерева и Буль, севрские вазы и китайские, саксонские статуэтки, атлас, бархат и кружева – все в изобилии.

Я расхаживал по квартире и следил за знатными посетительницами, которые пришли раньше меня. Они вошли в комнату, обтянутую ситцем, и я тоже собирался войти туда; как вдруг они вышли оттуда, улыбаясь и как бы стыдясь своего любопытства. Мой интерес к этой комнате только усилился. Это была уборная, снабженная всем необходимым; в мельчайших приспособлениях сказалась особенно ярко расточительность покойной.

На большом столе у стены, столе в три фута ширины и шесть длины, сверкали все сокровища д'Оока и д'Одио. Это был великолепный подбор, и все эти бесчисленные предметы, необходимые при туалете такой женщины, были из серебра и золота. И собрана была эта коллекция, по-видимому, не сразу, но постепенно, как дань любви различных людей.

Я не приходил в смущение при виде уборной содержанки, и мне нравилось рассматривать все мелочи; я обратил внимание, что на всех этих прекрасных чеканных инструментах были различные инициалы и различные гербы.

Я рассматривал эти вещи, из которых каждая мне рассказывала о новом prostituiровании бедной девушки, и приходил к выводу, что бог был милостив к ней, не дал ей дожить до обычного конца, позволил ей умереть среди роскоши и красоты, не дожидаясь старости, этой первой смерти куртизанок.

И действительно, как грустно видеть старость порока, особенно у женщины! В нем нет никакого достоинства, и он не вызывает никакого сочувствия. Отвратительно слышать это вечное сожаление не о дурно прожитой жизни, а о неверных расчетах и легкомысленно растраченных деньгах. Я знал одну старую проститутку, у которой от прошлого оставалась только дочь, почти такая же красивая, как она сама, по словам ее современников. Эту бедную девушку звали Луизой. Мать постоянно напоминала ей, что она обязана заботиться о матери в старости, так же, как мать заботилась о ней в детстве; и исполняя приказание своей матери, она отдавалась без всякой страсти, без удовольствия, как исполняла бы всякое другое ремесло, которому ее научили бы.

Постоянная жизнь среди разврата, разврата преждевременного, и постоянное болезненное состояние заглушили в этой девушке сознание добра и зла, которое, может быть, и было заложено в ней богом, но развивать которое никому не приходило в голову.

Я никогда не забуду этой девушки, которая появлялась на бульварах почти каждый день, в одно и то же время. Ее мать сопровождала ее всегда, так же аккуратно, как всякая другая мать сопровождает свою любимую дочь. Я был тогда очень молод и готов был примириться с легкой моралью нашего времени. Но отлично помню, что этот отвратительный надзор вызывал во мне презрение и негодование.

К тому же ни у одной порядочной девушки не было такого выражения невинности и тихого страдания в лице. Это была как бы олицетворенная покорность.

Однажды лицо девушки просветлело. Среди разврата, которым руководила ее мать, грешнице показалось, что Бог явил ей милость. И почему бы Бог, который создал ее бессильной, не дал ей утешения в ее тяжелой и мрачной жизни? Однажды она почувствовала, что беременна, и все, что у нее оставалось целомудренного, затрепетало от радости. В каждой душе есть свои противоречия. Луиза поспешила сообщить матери эту радостную новость. Стыдно сказать, но ведь мы делаем это не из любви к пороку, мы рассказываем истинное происшествие; и, наверное, промолчали бы о нем, если бы не думали, что нужно время от времени раскрывать мучения этих созданий, которых осуждают, не выслушав, и презирают, не подвергнув суду; стыдно сказать, но мать ответила дочери, что им обоим только-только хватает на жизнь и что на троих не хватит, что такие дети всегда лишние, а беременность – потерянное время.

На следующий день акушерка, подруга ее матери, пришла к Луизе; Луиза пролежала несколько дней в постели и встала еще более слабая и бледная, чем раньше.

Три месяца спустя какой-то господин проникся к ней жалостью и занялся ее моральным и физическим оздоровлением; но последнее потрясение было слишком сильно, и Луиза умерла от последствий искусственного выкидыша.

Мать еще жива: как она живет, один Бог знает.

Я вспомнил эту историю в то время, как рассматривал серебряные несесеры, и, по-видимому, сильно задумался; в комнате не осталось больше никого, кроме меня и сторожа, который, стоя у двери, внимательно наблюдал за мной.

Я подошел к сторожу, которому внушал недоверие.

– Не можете ли вы мне сказать, – спросил я у него, – кто жил здесь?

– Маргарита Готье.

Я знал эту девушку, по имени и по внешности.

– Как! – воскликнул я. – Маргарита Готье умерла?

– Да, сударь.

– Когда же?

– Кажется, недели три тому назад.

– А почему разрешили публике осматривать помещение?

– Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу.

– У нее были долги?

– Очень много.

– Но аукцион покрывает их?

– С излишком.

– А кому же достанется излишек?

– Ее семье.

– У нее есть родные?

– Кажется.

– Благодарю вас.

Сторож, разубедившись в моих намерениях, поклонился мне. Я ушел.

«Бедная девушка, – подумал я, возвращаясь домой, – невесело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо». И невольно мне стало жаль Маргариту Готье.

Многим покажется, может быть, смешным, но я питаю чрезмерную снисходительность к проституткам и даже не намерен в этом оправдываться.

Однажды я шел в полицию за паспортом и видел, как двое жандармов вели по улице девушку. Я не знаю, что сделала эта девушка, знаю только, что она обливалась горячими слезами, целуя маленького грудного ребенка, от которого ее отрывали. С тех пор я не могу презирать женщину с первого взгляда.

II

Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и т. д.

Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающемуся домой, в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Эти светила восходят и заходят без блеска. Когда они умирают молодыми, об их смерти узнают все их любовники одновременно, потому что в Париже почти все любовники известной кокетки живут одной жизнью. Они обмениваются воспоминаниями и продолжают свою жизнь дальше, не пролив ни единой слезы.

В наше время двадцатипятилетние молодые люди редко проливают слезы и не могут оплакивать первую встречную. Оплакивают только родителей, которые платят за слезы, и в зависимости от суммы, которую они уплачивают.

Что касается меня, то хотя моих букв и не было на туалетных принадлежностях Маргариты, инстинктивная снисходительность, естественная жалость, в которой я только что признался, заставляли меня думать о ее смерти дольше, чем она этого, может быть, заслуживала.

Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккурратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей; я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным, черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту.

Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом.

Ни один мужчина не согласится афишировать подругу своих ночных наслаждений; но так как проститутки боятся одиночества, то они и берут с собой на прогулку или менее счастливых подруг, не имеющих собственных выездов, или старых кокоток, все еще заботящихся о своей внешности, к которым свободно можно обратиться за справками относительно их спутницы.

Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания, зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья; и хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни, и только герцогиня могла бы так улыбаться.

Она не гуляла по кругу в начале Елисейских полей, как это делают и делали все ее товарки. Лошади быстро уносили ее в лес. Там она выходила из экипажа, гуляла в продолжение часа, вновь садилась в экипаж и возвращалась домой.

Я вспоминал все эти мелочи, очевидцем которых иногда бывал, и оплакивал смерть этой девушки, как оплакивают гибель прекрасного произведения искусства.

Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты.

Она была высокого роста и очень худощава; но свой физический недостаток она чрезвычайно искусно скрывала под складками платья. Ее длинная шаль, концы которой спускались до земли, с обеих сторон лежала на широких оборках шелкового платья, а пушистая муфта, в которую она прятала руки, прижимая ее к груди, так искусно была окружена воланами, что самый требовательный критик не сумел бы ничего возразить против красоты линий.

Ее чудесная головка была предметом особого кокетства. Она была очень маленькая, и ее мать, как сказал бы Мюссэ, позаботилась, создавая ее.

Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный; окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки; нарисуйте тонкий прямой нос со слегка чувственными раскрытыми ноздрями; набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы;

покройте кожу бархатистым пушком – и вы получите полный портрет этой очаровательной головки.

Волосы, черные как смоль, спускались двумя естественными или искусственными бандо на лоб и развевались на затылке, оставляя открытыми кончики ушей, на которых сверкали два бриллианта ценою каждый в четыре-пять тысяч франков.

Мы можем только констатировать факт, совершенно его не понимая, что чувственная жизнь не отняла у лица Маргариты девственного и даже детского выражения.

У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала.

Некоторые мелочи, о которых я говорю в этой главе, стали мне известны много позднее, но я пишу о них сейчас, чтобы не возвращаться к ним позднее, когда начнется история жизни этой женщины.

Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий.

В течение двадцати пяти дней каждого месяца камелии были белые, а остальные пять дней они были красные, никому не известна была причина, почему цветы менялись, и я говорю об этом, не пытаясь найти объяснения, но завсегдатаи тех театров, где она часто бывала, и ее друзья заметили это так же, как и я.

Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине мадам Баржон, где она всегда брала цветы, ее прозвали в конце концов «дамой с камелиями», и это прозвище осталось за ней.

Я знал, конечно, как и все, кто вращается в известных кругах Парижа, что Маргарита была любовницей самых изящных молодых людей, что она открыто об этом говорила и что они сами этим хвастались; это доказывало, что и любовники, и любовница были довольны друг другом.

Однако последние три года, после путешествия в Баньер, по слухам, она жила только с одним старым иностранцем герцогом, необыкновенно богатым, который старался оторвать ее от прошлого, на что она, по-видимому, довольно охотно соглашалась.

Вот что мне рассказывали по этому поводу.

Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер.

Там, среди больных, была и дочь герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла.

Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, как на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи.

Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери.

Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил...

В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут

кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни.

Он не сделал ей упрёка, да и не имел на то права; но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала.

Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошное казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление.

И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон к концу лета мало-помалу восстановили ее силы.

Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере.

Эта связь, о которой никто не знал ни ее действительного происхождения, ни ее действительного содержания, произвела большое впечатление, потому что герцог был известен своим богатством, а теперь стал известен своей расточительностью.

Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной.

А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что всякое другое отношение к ней для него было бы кровосмешением, и ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь.

Нам чужды намерения придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что, пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, ей не трудно было сдерживать, и она его сдержала; но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, даже к оргиям, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки, и жгучее дыхание прошлой жизни ударило ей в голову и в сердце.

Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было двадцать лет и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания.

Герцогу было очень тяжело в тот день, когда его друзья, неустанно выслеживавшие скандала со стороны молодой женщины, связь с которой, по их словам, его компрометировала, донесли ему, что в тот час, когда она уверена в своей безопасности, она принимает посетителей и что эти посещения продолжаются часто до следующего утра.

Герцог спросил Маргариту, она созналась и без всякой задней мысли посоветовала ему перестать интересоваться ею, так как у нее нет сил сдерживать свое обещание и ей не хочется больше принимать благодеяния от человека, которого она обманывает.

Герцог не показывался в течение недели, и это было все, что он мог сделать, а на восьмой день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрёка.

Вот как обстояло дело через три месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года.

III

16-го, в час дня, я отправился на улицу д'Антэн.

Уже у входной двери были слышны голоса.

Квартира была полна любопытных.

Там были все звезды пышного порока, с любопытством изучаемые несколькими светскими дамами, которые снова воспользовались аукционом, чтобы присмотреться вблизи к женщинам, с которыми они никогда не имели бы случая встретиться и легким радостям которых они, может быть, втайне завидовали.

Герцогиня Ф... стояла бок о бок с мадемуазель А..., одним из печальнейших явлений в среде наших куртизанок; маркиза Т... колебалась, купить или не купить ей вещь, на которую надбавляла цену мадам Д..., самая роскошная и самая известная кокетка; герцог И..., о котором в Мадриде говорили, что он разоряется в Париже, а в Париже, что он разоряется в Мадриде, и который все-таки не мог даже истратить своего годового дохода, разговаривал с мадам М..., одной из наших самых умных рассказчиц, которая время от времени печатала рассказы за своей подписью, и обменивался дружескими взглядами с мадам N..., прекрасной завсегдатайкой Елисейских полей, почти всегда одетой в розовое или голубое; ее карета запряжена парой рослых черных лошадей, которых Тони продал ей за десять тысяч франков и... которые она ему заплатила; наконец мадемуазель Р..., которая при помощи только своего таланта достигала вдвойне против того, чего достигают светские женщины при помощи своего приданого, и втройне против того, что другие достигают при помощи любви, – пришла, несмотря на холод, сделать несколько покупок, и на нее было устремлено немало взоров.

Мы могли бы назвать инициалы еще многих людей, собравшихся в этих гостиных и очень удивленных этой общей встречей; но мы боимся утомить читателя.

Скажем только, что всем было безумно весело и среди тех, кто находился здесь, многие знали покойную, но, по-видимому, не вспоминали ее.

Смеялись громко; оценщики кричали до потери голоса; торговцы, которые заполнили все скамьи перед главным столом, тщетно старались восстановить тишину, чтобы в тишине обделать свои дела. Никогда не было такого шумного и пестрого собрания.



Я медленно шел среди этого неуместного шума, помня, что рядом, в соседней комнате, испустила дух несчастная женщина, мебель которой продавали за долги.

Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдение, и поэтому я наблюдал физиономии поставщиков, которые устроили аукцион; каждый раз, когда какой-нибудь предмет неожиданно повышался в цене, их лица расплывались в улыбке.

«Честные» люди, которые строили свои расчеты на проституировании этой женщины, которые заработали на ней сто на сто, которые преследовали своими векселями последние

минуты ее жизни и которые после ее смерти пришли пожать плоды своих «честных» расчетов и получить проценты за свой постыдный кредит.

Насколько правы были древние, установив одного общего бога для торговцев и для воров!

Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал.

Вдруг я услышал крик:

– Книга в прекрасном переплете, с золотым обрезом, под заглавием: «Манон Леско». На первой странице есть надпись. Десять франков.

– Двенадцать, – сказал кто-то после продолжительного молчания.

– Пятнадцать, – сказал я. Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи.

– Пятнадцать, – повторил оценщик.

– Тридцать, – повторил первый покупатель таким голосом, как будто он не допустит надбавки.

Дело принимало характер борьбы.

– Тридцать пять! – крикнул я в тон.

– Сорок.

– Пятьдесят.

– Шестьдесят.

– Сто.

Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого; кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги.

По-видимому, тон, которым я произнес последнее слово, подействовал на моего противника: он предпочел прекратить этот торг, в результате которого я должен был заплатить за книжку в десять раз дороже ее стоимости, и, поклонившись, сказал очень любезно, но, к сожалению, немного поздно:

– Я уступаю.

Возражений не последовало, и книга осталась за мной.

Опасаясь, что самолюбие снова заведет меня далеко и нанесет ущерб моему кошельку, я записал свое имя и ушел. Должно быть, свидетелям этой сцены я подал повод к бесконечным догадкам; их интересовало, вероятно, почему я заплатил сто франков за книгу, которую я мог повсюду купить за десять, самое большое за пятнадцать.

Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая:

Маргарите

Смиренная Манон

А внизу подпись: *Арман Дюваль*.

Что значило это слово: смиренная?

В чем признавала Манон, по мнению Армана Дюваля, превосходство Маргариты: в разврате или в благородстве души?

Второе толкование казалось более правдоподобным; первое было бы только наглой откровенностью, которую не приняла бы Маргарита, несмотря на свое мнение о себе.

Я вышел из дому и вернулся к этой книге только вечером перед сном.

Я знаю очень хорошо трогательную историю Манон Леско; но всякий раз, когда мне попадает в руки эта книга, меня влечет к ней, я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. Эта героиня так правдоподобна, что мне кажется, будто я ее знаю. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной

девушке, по наследству от которой я получил этот томик. Манон умерла в пустыне, это верно, но на руках человека, который любил ее всеми силами души, который вырыл для мертвой могилу, оросил ее своими слезами и схоронил в ней свое сердце; а Маргарита, такая же грешница, как Манон, может быть, так же раскаявшаяся, как и та, умерла среди пышной роскоши, если верить тому, что я видел, на ложе своего прошлого, но и среди пустыни сердца, более бесплодной, более необъятной, более безжалостной, чем та, в которой была погребена Манон.

И действительно, как я узнал от своих друзей, осведомленных о последних днях ее жизни, Маргарита не слышала у своего изголовья искреннего утешения в продолжение двух месяцев, пока тянулась ее медленная и мучительная агония.

Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальной.

Бедные создания! Если нельзя их любить, то можно пожалеть. Вы жалеете слепого, который никогда не видел дневного света, глухого, который никогда не слышал голосов природы, немого, который никогда не мог передать голос своей души, и из чувства стыда не хотите пожалеть слепоту сердца, глухоту души и немоту совести, которые делают безумной несчастную страдальцу и, помимо ее воли, неспособной видеть хорошее, слышать Господа Бога и говорить на чистом языке любви и веры.

Гюго написал Марион Делорм, Мюссе – Бернеретту, Александр Дюма – Фернанду, мыслители и поэты всех времен приносили куртизанкам дары своего сострадания, а иногда какой-нибудь великий человек реабилитировал их своей любовью и даже своим именем... Я так настаиваю на этом потому, что среди тех, кто будет меня читать, многие, может быть, уже готовы бросить мою книгу, так как боятся найти в ней апологию порока и проституции, а возраст автора только усиливает это опасение. Пусть те, кто так думает, сознают свою ошибку, и пусть они продолжают чтение, если их удерживал только этот страх.

Я убежден в одном: для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему: это – путь страдания и путь любви. Они трудны; те, кто на него вступает, натирают себе до крови ноги, раздирают руки, но в то же время оставляют украшения порока на придорожных колючках и подходят к цели в той наготе, которой не стыдятся перед Создателем.

Те, кто встречает этих путниц, должны их поддержать и сказать всем, что они их встретили, ибо, сказав об этом, они другим указывают путь.

Речь идет не просто о том, чтобы поставить при входе в жизнь два столба с надписью на одном: «Путь к добру» и с предупреждением на другом: «Путь ко злу», и сказать тем, кто является: «Выбирайте!»

Нужно указывать тем, кто уклонился в сторону дорог, которые ведут со второго пути на первый, и нужно постараться, чтобы начало этого пути не было очень тяжелым и не казалось непреодолимым.

Зачем нам быть такими строгими? Зачем нам упорно держаться взглядов того общества, которое представляется жестоким, чтобы его считали сильным, и отталкивать души, истекающие кровью от ран, через которые, как дурная кровь, испаряется зло их прошлого, и ожидающие дружеской руки, которая их перевяжет и даст их сердцу исцеление?

Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние пятнадцать лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается, к нам возвращается уважение к справедливости, и если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели, и все сильные воли заражены одним желанием: будем добры, будем молоды, будем правдивы! Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Не будем презирать женщину, которая не называется ни матерью, ни сестрой, ни дочерью, ни женой. Не будем ограничивать уважение семьей, снисхождение эгоизмом. Небо больше радуется одному

раскаявшемуся грешнику, чем ста праведникам, которые никогда не согрешили; постараемся же порадовать небо. Оно воздаст нам сторицей. Будем раздавать на своем пути милостыню нашего прощения тем, которых погубили земные страсти, и как говорят добрые старые женщины, когда они предлагают лекарство собственного изобретения, если это и не поможет, то, во всяком случае, не повредит.

Конечно, может показаться очень смелым с моей стороны ожидать таких великих результатов от моего труда; но я принадлежу к тем, кто верит, что все в малом. Малый ребенок заключает в себе большого человека; мозг тесен, но в нем сокрыта мысль; глаз – одна точка, но он обнимает пространства.

IV

Через два дня аукцион был совершенно закончен. Он дал сто пятьдесят тысяч франков. Кредиторы разделили между собой две трети, а семья, состоявшая из сестры и племянника, унаследовала остальное.

Сестра сделала большие глаза, когда нотариус известил ее, что ей досталось наследство в пятьдесят тысяч франков.

Шесть-семь лет эта девушка не видела сестры, которая однажды исчезла и с тех пор не давала о себе знать.

Она поспешно приехала в Париж, и велико было удивление тех, кто знал Маргариту, когда они увидели в лице ее единственной наследницы толстую и красивую деревенскую девушку, ни разу до тех пор не выезжавшую из деревни.

Ее будущее было обеспечено одним взмахом пера, и она даже не знала, из какого источника пришло к ней это неожиданное благополучие.

Она снова вернулась, как мне рассказывали, к себе в деревню, очень опечаленная смертью сестры, однако компенсированная помещением своих денег на проценты.

Все эти подробности живо интересовали Париж – очаг скандалов, но мало-помалу стали забываться; и я тоже начал было забывать свою долю участия в этих событиях, как вдруг новое происшествие раскрыло передо мной всю жизнь Маргариты и показало мне такие трогательные подробности, что у меня явилось желание написать этот рассказ, и я его написал.

Уже три или четыре дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась внаем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель.

Мой слуга, или, вернее, мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что господин желает меня видеть.

Я взглянул на карточку и прочел там два слова: Арман Дюваль.

Я старался вспомнить, где я уже видел это имя, и вспомнил первый листок в книге «Манон Леско».

Что нужно от меня человеку, который подарил эту книгу Маргарите? Я велел немедленно просить посетителя.

Я увидел белокурого молодого человека, высокого роста, бледного, одетого в дорожный костюм, который он, по-видимому, не снимал в течение нескольких дней и даже не почистил по приезде в Париж, хотя он и был в пыли.

Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение; он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе:

– Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм; но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом; а мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил свои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома.

Я попросил господина Дюваля сесть около огня, что он и сделал; вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо.

– Вам трудно понять, – начал он с печальным вздохом, – что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении.

– Говорите, я весь к вашим услугам.

– Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?

При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось и он принужден был закрыть лицо руками.

– Вам смешно смотреть на меня, – добавил он, – еще раз прошу у вас прощения; будьте уверены, что я никогда не забуду терпения, с которым вы меня слушаете.

– Если та услуга, которую вы потребуете от меня, – возразил я, – может хоть немного успокоить ваше горе, скажите мне скорее, чем я могу быть вам полезен, и я буду счастлив помочь вам.

Горе господина Дюваля было мне симпатично, и я хотел быть ему приятным.

Тогда он сказал:

– Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?

– Да, книгу.

– «Манон Леско»?

– Да.

– Эта книга у вас?

– Она у меня в спальне.

Арман Дюваль при этом сообщении, казалось, успокоился и поблагодарил меня, как будто я оказал ему услугу тем, что сохранил эту книгу.

Я поднялся, прошел в свою комнату, взял книгу и передал ему.

– Да, это та самая, – сказал он, посмотрев на надпись на первой странице и перелистав книгу, – да, это она.

И две больших слезы скатились по его щекам.

– Скажите, пожалуйста, – спросил он, подняв на меня глаза и даже не стараясь скрывать своих слез, – вы очень дорожите этой книгой?

– Почему вы так думаете?

– Потому, что я хочу вас просить уступить ее мне.

– Простите мне, пожалуйста, мое любопытство, – сказал я, – это вы подарили эту книгу Маргарите Готье?

– Да, я.

– Эта книга принадлежит вам, возьмите ее, я счастлив, что могу вернуть ее вам.

– Но, – возразил господин Дюваль со смущением, – я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили.

– Позвольте мне подарить вам ее. Цена одной книжки на подобном аукционе пустяшная, и я уж не помню, сколько заплатил за нее.

– Вы заплатили за нее сто франков.

– Да, верно, – сказал я в свою очередь со смущением. – Но откуда вы это знаете?

– Это очень просто; я надеялся приехать в Париж вовремя, чтобы поспеть к аукциону у Маргариты, а приехал только сегодня утром. Я хотел обязательно иметь какую-нибудь вещь после нее и побежал к оценщику, чтобы получить разрешение посмотреть список проданных вещей и имена покупателей. Я увидел, что эту книжку купили вы, и решил просить вас уступить ее мне, хотя сумма, которую вы заплатили за нее, заставила меня опасаться, что у вас самого связано какое-нибудь воспоминание с этой книгой.

Чувствовалось в этих словах Армана опасение, что я знал Маргариту так же, как и он.

Я поспешил его разуверить.

– Я знал мадемуазель Готье только по виду, – сказал я. – Ее смерть произвела на меня такое впечатление, какое производит на всякого молодого человека смерть красивой женщины, которую он имел удовольствие встречать. Я хотел купить что-нибудь у нее на аукционе и почему-то погнался за этой книжкой, сам не знаю почему, может быть, из желания позлить одного господина, который хотел ее приобрести во что бы то ни стало и боролся со мной за ее обладание. Повторяю вам, книга эта к вашим услугам, и я очень вас прошу взять ее у меня, но не на тех условиях, на каких я ее получил от оценщика; пускай она будет залогом нашего дальнейшего знакомства и дружеских отношений.

– Хорошо, – сказал Арман, протянув мне руку, пожав мою, – я принимаю и буду вам признателен всю мою жизнь.

Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге, путешествие молодого человека, его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство; но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь.

Казалось, он угадал мое желание и сказал мне:

– Вы читали эту книгу?

– Да, всю.

– Что вы подумали о моей надписи?

– Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня; мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента.

– Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо.

Он протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз побывал у него в руках.

Я развернул его и вот что прочел:

«Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, больна такой болезнью, которая не прощает; но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которая написала полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло еще меня исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг! Ваша прежняя Маргарита очень изменилась, и, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас; ах, от всего сердца, друг мой, так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы мне изменят.

Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится; мы часто с ней говорили о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашем возвращении во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания о единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость, и если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение.

Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет.

Вы представляете себе, мой друг? Я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы мои друзья ничего не унесли и чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца и тогда уж назначат аукцион.

Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь, это Бог справедлив и непреклонен.

Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь; если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности.

Я покидаю печальную жизнь.

Велика была бы милость Божья, если бы мне позволено было увидеть вас перед смертью! Но по всему видно, что я должна вам сказать: прости, мой друг! Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями, и рука моя отказывается служить. Маргарита Готье».

И действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть.

Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге; взяв его у меня, он сказал:

– Кто бы мог подумать, что это писала содержанка!

И, растроганный своими воспоминаниями, он рассматривал некоторое время почерк письма, а потом поднес его к губам.

– Как вспомню, – снова начал он, – что она умерла, не повидавшись со мной, и что я ее не увижу больше никогда; как вспомню, что она сделала для меня то, чего не сделала бы сестра, – я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла! Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная милая Маргарита!

И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал:

– Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы о такой покойной; ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы десять лет жизни, чтобы поплакать один час у ее ног.

Очень тяжело утешать в горе, которого не знаешь, а меж тем я испытывал такое горячее участие к этому молодому человеку, он с такой откровенностью сделал меня поверенным своего горя, что я решил, что мои слова не будут для него безразличны, и сказал ему:

– Разве у вас нет родных, друзей? Попытайтесь повидаться с ними, и они утешат вас, а я могу вам только сочувствовать.

– Да, это верно, – сказал он, поднявшись и сделав несколько шагов по комнате, – я вам надоел. Простите, я не подумал, что мое горе вас очень мало трогает и что я пристаю к вам с тем, что вас не может и не должно ничуть интересовать.

– Вы неверно меня поняли, я весь к вашим услугам, мне только жаль, что я не в состоянии успокоить вас. Если мое общество и общество моих друзей могут вас развлечь, если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезен, пожалуйста, не сомневайтесь в моей полной готовности.

– Пожалуйста, простите меня, – сказал он, – горе преувеличивает все ощущения. Позвольте мне остаться у вас еще несколько минут, чтобы вытереть глаза; я не хочу, чтобы уличные зеваки рассматривали с любопытством большого парня, который плачет. Вы меня осчастливили этой книгой; я никогда не сумею вас отблагодарить за нее.

– Считайте меня вашим другом, – сказал я Арману, – и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение – рассказать о своих страданиях.

– Вы правы; но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, – добавил он, в последний раз вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, – скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас?

У него было очень милое и приятное выражение лица, а я с трудом удержался, чтобы не обнять его.

Что касается Армана, то глаза его опять подернулись слезами; он увидел, что я это заметил, и отвернулся от меня.

– Мужайтесь, – сказал я.

– Прощайте, – сказал он.

И, сделав над собой невероятное усилие, чтобы не заплакать, он выбежал от меня.

Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей; и, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком.

V

Прошло долгое время, и я ничего не слышал об Армане, но зато мне часто приходилось слышать о Маргарите.

Я не знаю, замечали ли вы, что достаточно, чтобы кто-нибудь раз назвал перед вами имя особы, которая должна была бы остаться для вас неизвестной или, по крайней мере, безразличной, для того, чтобы вокруг этого имени начали собираться различные детали и чтобы все ваши друзья начали вам говорить о том, о чем они никогда раньше с вами не разговаривали. Вы вдруг открываете, что эта особа даже интересовала вас, вы замечаете, что она много раз появлялась в вашей жизни, но только вы на это не обращали внимания; вы находите в том, что вам рассказывают, сходство, тождество с некоторыми явлениями вашей собственной жизни. По отношению к Маргарите дело не обстояло буквально так: я ее и раньше видел, встречал и знал по виду; однако со времени аукциона мне так часто приходилось слышать это имя, а в описанном происшествии оно было связано с таким глубоким страданием, что мое удивление только возросло, а мое любопытство усилилось.

В результате я обращался ко всем моим друзьям, с которыми я раньше никогда не разговаривал о Маргарите, с вопросом:

– Вы знали Маргариту Готье?

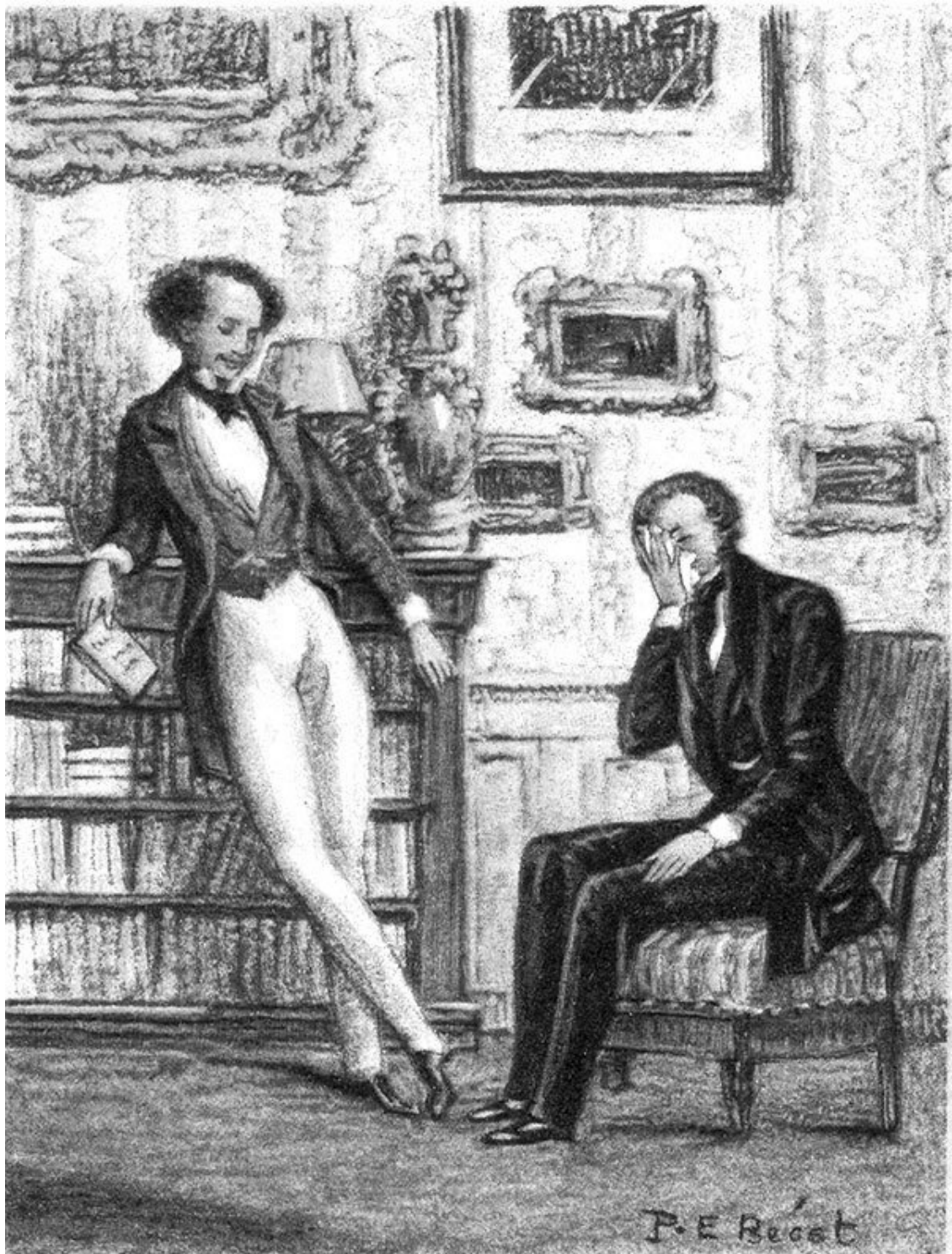
– Даму с камелиями?

– Да.

– Конечно!

Эти «конечно!» сопровождались иногда улыбками, довольно-таки недвусмысленными.

– А что она представляла собой? – продолжал я.



- Хорошая была девушка.
- И это все?
- Ну да, пожалуй, она была умнее и добрее других.
- И вы ничего особенного о ней не знаете?
- Она разорила барона Г...
- И только?
- Она была любовницей старого герцога...
- Она действительно была его любовницей?
- Говорят, во всяком случае, он ей давал много денег.
- И всегда – одни и те же сведения.

А мне хотелось узнать что-нибудь о связи Маргариты с Арманом.

Я встретил как-то одного человека, который дружил со всеми известными женщинами.

Я спросил его:

– Вы знали Маргариту Готье?

Ответом мне было все то же «конечно».

– Что это была за девушка?

– Красивая и добрая. Ее смерть причинила мне большое горе.

– У нее был любовник Арман Дюваль?

– Высокого роста, блондин?

– Да.

– Был.

– А что собой представляет Арман?

– Молодой человек, который прожил с ней то небольшое, что у него было, и, по-видимому, был вынужден ее бросить. Говорят, он был от нее без ума.

– А она?

– Она тоже его очень любила, как говорят, но по-своему. От этих женщин нельзя требовать больше, чем они могут дать.

– Что случилось с Арманом?

– Не знаю. Мы его мало знали. Он жил с Маргаритой пять-шесть месяцев, но в деревне.

Когда она вернулась, он уехал.

– И вы его не видели с тех пор?

– Ни разу.

Я тоже не видел больше Армана. Я подумывал, что, может быть, в момент его визита ко мне его любовь к Маргарите была преувеличена, а следовательно, и его страдания из-за недавно полученного известия о ее смерти; и что, может быть, он уже забыл и покойную, и свое обещание прийти ко мне.

Это предположение было бы весьма правдоподобно по отношению ко всякому другому человеку, но в отчаянии Армана звучали искренние ноты; и, переходя от одной крайности к другой, я решил, что печаль повела за собой болезнь и что я не получаю известий потому, что он болен и даже, может быть, умер.

Я невольно заинтересовался этим молодым человеком. Может быть, в этой заинтересованности был своего рода эгоизм; может быть, я угадывал под этим страданием трогательную повесть души, может быть, даже мое желание узнать ее сыграло главную роль в заботах об Армане.

Но так как господин Дюваль не приходил ко мне, я решил пойти к нему. Предлог не трудно было найти; к несчастью, я не знал его адреса и к кому ни обращался, никто не мог мне его указать.

Я отправился на улицу д'Антэн. Может быть, швейцар Маргариты сказал, где живет Арман. Но там был новый швейцар. И он ничего не знал, так же, как и я. Я спросил тогда, на каком кладбище была похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском.

Стоял апрель, погода была прекрасная, могилы не имели уже того печального и унылого вида, какой им придает зима; было уже довольно тепло, так что живые могли вспомнить о мертвых и их навестить. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты я увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался.

Я зашел в сторожку и спросил у сторожа, не была ли похоронена на Монмартрском кладбище 22 февраля женщина по имени Маргарита Готье.

Сторож перелистал толстую книгу, в которой записаны и занумерованы все, кто является в это последнее убежище, и ответил мне, что действительно 22 февраля, в полдень, была похоронена женщина, носившая такое имя.

Я просил его проводить меня на ее могилу, так как трудно ориентироваться без проводника в этом городе мертвых, который имеет свои улицы, как и город живых. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами:

– Знаю, знаю... Эту могилу очень легко узнать, – продолжал он, обращаясь ко мне.

– Почему? – спросил я.

– Потому что на ней совершенно особенные цветы.

– Вы за ними ухаживаете?

– Да, я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который мне поручил эту могилу.

После нескольких поворотов садовник остановился и сказал:

– Вот мы и пришли.

И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было бы принять за могилу, если бы не белая мраморная плита.

Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями.

– Как вам это нравится? – спросил садовник.

– Очень, очень.

– И я получил приказание менять камелии, как только они завянут.

– Кто же вам дал это приказание?

– Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз; прежний приятель покойной, должно быть; ведь она была, по-видимому, веселого поведения. Говорят, она была очень красива. Вы ее знали?

– Да.

– Как и тот молодой человек, – сказал садовник, хитро улыбаясь.

– Нет, я ни разу с ней не разговаривал.

– И вы все-таки пришли сюда ее навестить; это очень мило с вашей стороны, у нее никто не бывает.

– Никто?

– Никто, за исключением этого молодого человека, который приходил один раз.

– Только один раз?

– Да, один.

– И с тех пор больше не приходил?

– Нет, но он придет, когда вернется.

– Он уехал?

– Да.

– А вы знаете, куда он поехал?

– Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье.

– А зачем?

– Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте.

– Почему он не хочет оставить ее здесь?

– Знаете, сударь, с мертвыми тоже свои церемонии. Мы это видим каждый день. Эти участки покупаются только на пять лет, а молодой человек хочет иметь в вечное владение и большой участок; тогда лучше перебраться на новое кладбище.

– Что вы называете новым кладбищем?

– Новые участки, которые продаются теперь на левой стороне. Если бы кладбище всегда так содержали, как теперь, не было бы другого такого на всем свете; но нужно еще многое переделать для того, чтобы все было как следует. А кроме того, у людей такие странные причуды!

– Что вы хотите этим сказать?

– Я хочу сказать, что некоторые остаются спесивыми даже здесь. Говорят, мадемуазель Готье жила довольно-таки легкомысленно, простите меня за выражение. Теперь барышня умерла; и от нее осталось столько же, сколько от тех, которых ни в чем нельзя упрекнуть и могилы которых мы поливаем каждый день; ну, и когда родные тех, кто лежит рядом с ней, узнали, кто она такая, они вообразили, что должны восстать против этого и что должны быть особые кладбища для таких особ, так же как для бедных. Слыхано ли это? Я их отлично знаю, толстые капиталисты, они не приходят и четырех раз в год навестить своих покойников, сами приносят им цветы, и посмотрите, какие цветы! Жадничают для тех, кого они, по их словам, оплакивают, пишут на памятниках о своих слезах, которых они никогда не проливали, и делают соседям разные неприятности. Хотите верьте, хотите нет: я не знал этой барышни, я не знаю, что она сделала, и все-таки я люблю эту бедняжку и забочусь о ней, приношу ей камелии по самой сходной цене. Это моя любимая покойница. Мы вынуждены любить мертвых, так как мы слишком заняты и у нас не остается времени любить что-нибудь другое.

Я смотрел на этого человека, и некоторые мои читатели поймут, какое волнение я испытывал.

Он заметил это, должно быть, и продолжал:

– Говорят, многие разорились из-за нее и у нее были любовники, которые ее обожали, но как подумаешь, что никто ей не принес ни одного цветочка, испытываешь грусть и тревогу. И ей еще нечего жаловаться, у нее есть своя могила, и хоть один человек помнит о ней и заботится за всех остальных. Но у нас здесь лежат бедные девушки такого же звания и такого же возраста, их бросают в общую могилу, и у меня сердце болит, когда я слышу, как падают их тела в землю. И никто ими не интересуется с момента их смерти! Невеселое наше ремесло, особенно если у нас есть хоть немного сердца. Что поделаешь? Это сильнее меня. У меня есть дочь двадцати лет, и, когда к нам приносят покойницу в этом возрасте, я думаю о ней, и будь это знатная дама или бродяжка, я испытываю волнение. Но вам надоели мои рассказы, и вы не за этим пришли сюда. Мне велели провести вас на могилу мадемуазель Готье, вот она; вам нужно еще что-нибудь от меня?

– Не знаете ли вы адрес господина Дюваля? – спросил я его.

– Знаю, он живет на улице N. Туда, по крайней мере, я ходил получать за цветы, которые вы здесь видите.

– Спасибо, мой друг.

Я бросил последний взгляд на цветущую могилу, которую мне невольно хотелось пронзить своим взглядом насквозь, чтобы посмотреть, что сделала земля с прекрасным созданием, которое ей бросили, и ушел, опечаленный.

– Вы хотите навестить господина Дюваля? – спросил садовник, идя рядом со мной.

– Да.

– Я уверен, что он еще не вернулся в Париж, иначе он, наверное, пришел бы сюда.

– Вы уверены, что он не забыл Маргариту?

– Я не только уверен, я готов биться об заклад, что он хочет переменить ей могилу только затем, чтобы ее снова увидеть.

– Как так?

– Первое, что он мне сказал, придя на кладбище, это: «Что нужно сделать, чтобы увидеть ее еще раз?» Это можно сделать, только если переменить могилу. И я ему объяснил все формальности, связанные с этим; ведь для того, чтобы перенести покойников из одной могилы в другую, нужно их признать, и только родные могут дать разрешение на этот акт, при котором присутствует чиновник из полиции. Вот за этим разрешением господин Дюваль и поехал к сестре мадемуазель Готье, и его первый визит будет, конечно, к нам.

Мы подошли к воротам кладбища; я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу.

Арман не возвращался.

Я оставил ему записку, в которой просил заехать ко мне по возвращении или же известить меня, где я могу его видеть.

На следующий день утром я получил от Дюваля письмо, извещавшее меня о его приезде и с просьбой навестить его, так как он изнемогает от усталости и не может выйти.

VI

Я застал Армана в постели.

Он протянул мне горячую руку.

– У вас жар! – сказал я.

– Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия.

– Вы были у сестры Маргариты?

– Да. Кто вам это сказал?

– Так, один человек; а вы получили то, что вам нужно было?

– Да; но кто вам сказал о моем путешествии и о цели его?

– Садовник на кладбище.

– Вы видели могилу?

Я не знал, отвечать ему или нет; тон его вопроса показал мне, что он все еще был взволнован и что всякий раз, как его мысли или чьи-нибудь слова будут возвращаться к этому тяжелому вопросу, он еще долго не в силах будет победить свое волнение.

И я ответил ему кивком головы.

– Он смотрит за могилой? – продолжал Арман.

Две больших слезы скатились по щекам больного, и он отвернулся, чтобы скрыть их от меня. Я сделал вид, что не заметил, и пытался переменить разговор.

– Вот уже три недели, как вы уехали, – сказал я.

Арман провел рукой по глазам и ответил:

– Да, три недели.

– Вы долго путешествовали?

– Нет, я не все время путешествовал, я был болен две недели, иначе я давно бы вернулся; едва я приехал туда, как схватил лихорадку, и она продержала меня в постели.

– И вы уехали, не дождавшись полного выздоровления?

– Если бы я остался там еще неделю, я бы, наверное, умер.

– Но теперь вам нужно поберечь себя; ваши друзья будут вас навещать. И я первый, если вы мне позволите.

– Через два часа я встану.

– Какое неблагоразумие!

– Мне необходимо.

– Какое у вас неотложное дело?

– Мне нужно пойти в полицию.

– Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения, ведь вы можете серьезно заболеть?

– Это может меня исцелить. Я должен ее еще раз увидеть. Я не могу спать с тех пор, как узнал о ее смерти, и особенно с тех пор, как увидел ее могилу. Я не могу себе представить, что эта женщина, которую я оставил такой молодой и красивой, умерла. Нужно, чтобы я сам в этом убедился. Мне нужно самому увидеть, что Бог сделал с той, которую я так любил, и, может быть, отвращение от этого зрелища вытеснит отчаяние от воспоминания; вы пойдете со мной, не правда ли?.. Это вам не очень неприятно?

– Что вам сказала ее сестра?

– Ничего. Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту, и она сейчас же дала мне на это разрешение.

– Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления.

– Ничего, у меня хватит сил, будьте покойны. Кроме того, я с ума сойду, если не покончу с этим как можно скорее, ведь это стало для меня совершенно необходимо. Клянусь вам, я

не успокоюсь, пока не увижу Маргариту. Может быть, меня сжигает лихорадочный жар, греза бессонных ночей, плод бреда; но я увижу ее, хотя бы мне пришлось после этого вступить в орден траппистов, как господину де Рансе.

– Я понимаю вас, – сказал я Арману, – и готов вас сопровождать; вы видели Жюли Дюпре?

– Да. Я ее видел в первый же день по возвращении.

– Она вам передала бумаги, которые Маргарита у нее оставила для вас?

– Вот они.

Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда.

– Я знаю наизусть то, что там написано, – сказал он. – Все эти три недели я перечитывал их по десять раз в день. Вы тоже их прочтете, но позднее, когда я успокоюсь и сумею вам пояснить, насколько эта исповедь полна нежности и любви. Теперь я попрошу вас об одной услуге.

– Какой?

– Вас ждет внизу экипаж?

– Да.

– Пожалуйста, возьмите мой паспорт и поезжайте с ним на почту, там нужно получить для меня письма до востребования. Отец и сестра должны были написать мне в Париж, а я уехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, мы вместе поедem в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии.

Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жака Руссо. Там было два письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся.

К моему возвращению Арман был уже совершенно готов.

– Спасибо, – сказал он, беря у меня письма. – Да, это от отца и сестры, – добавил он, посмотрев на адрес. – Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием.

Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел, их содержание, так как каждое было по четыре страницы, и через секунду он снова их сложил.

– Едем, – сказал он, – я отвечу завтра.

Мы отправились в полицию, и Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты.

Чиновник дал ему пропускной лист к кладбищенскому сторожу; мы условились, что перенесение тела состоится на следующий день, в десять часов утра; я заеду за ним за час до этого, и мы вместе отправимся на кладбище.

Меня очень занимала мысль присутствовать при этом зрелище, и, признаюсь, я не спал всю ночь.

Судя по тому, какие мысли одолевали меня, для Армана это была долгая ночь.

Когда на следующий день в девять часов утра я пришел к нему, он был страшно бледен, но казался спокойным.

Он мне улыбнулся и протянул руку.

Свечи у него догорели до конца, и перед уходом он взял толстое письмо, адресованное отцу и заключающее, по-видимому, его ночные впечатления.

Через полчаса мы были на кладбище.

Чиновник уже ждал нас.

Мы медленно пошли по направлению к могиле Маргариты. Чиновник шел впереди. Арман и я следовали за ним на некотором расстоянии.

Время от времени я чувствовал, как конвульсивно вздрагивала рука моего спутника, точно судорога пробегала внезапно по его телу. Тогда я взглядывал на него; он понимал мой взгляд и улыбался мне. Но с того момента, как мы вышли от него, мы оба не проронили ни одного слова.

Неподалеку от могилы Арман остановился, чтобы вытереть лицо, покрытое крупными каплями пота.

Я воспользовался этой остановкой, чтобы передохнуть, ибо мое сердце тоже было сжато, как в тисках.

Откуда появляется это болезненное удовольствие от подобного зрелища! Когда мы подошли к могиле, цветы уже были сняты, железная решетка убрана, и два человека копали землю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.